

Ф.Г. Жарский

Головин Иван Ильич

Главный герой повести Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича», член Судебной палаты, умерший в сорок пять лет от неизлечимой болезни. «Он был, — пишет Толстой, — сын чиновника, сделавшего в Петербурге по разным министерствам и департаментам... карьеру...» Отец его «был тайный советник, ненужный член разных ненужных учреждений, Илья Ефимович Головин». Иван Ильич «был второй сын» среди трех его сыновей, «гордостью семьи», успешно начавший и продолжавший карьеру. Он получил образование в училище Правоведения, где в отличие от младшего брата, выгнанного из пятого класса, «хорошо кончил курс». «В Правоведении уже он был тем, чем он был впоследствии всю свою жизнь: человеком способным, весело добродушным и общительным, но строго исполняющим то, что он считал своим долгом; долгом же он своим считал все то, что считалось таковым наивысше поставленными лицами... У него с самых молодых лет было то, что он, как муха к свету, тянулся к наивысше поставленным в свете людям, усваивал себе их приемы, их взгляды на жизнь и с ними устанавливал дружеские отношения».

В училище Правоведения Иван Ильич совершил некоторые поступки, которые «прежде представлялись ему большими гадостями и внушали ему отвращение к самому себе в то время, как он совершал их; но впоследствии, увидев, что поступки эти были совершаемы и высоко стоящими людьми и не считались ими дурными, он не то что признал их хорошими, но совершенно забыл их и нисколько не огорчился воспоминаниями о них».

Из училища Правоведения Иван Ильич вышел «десятым классом и уехал в провинцию на место чиновника особых поручений» при губернаторе, которое «доставил ему отец». В провинции он служил с «неподкупной честностью» и гордился этим, а у начальника был «домашним человеком».

«Была в провинции и связь с одной из дам, навязавшейся щеголеватому правоведе; была и модистка; были и попойки с приезжими флигель-адъютантами, и поездки в дальнюю улицу после ужина; было и подслуживанье начальнику и даже жене начальника, но все это носило на себе такой высокий тон порядочности, что все это не могло быть называемо дурными словами...» Через пять лет Иван Ильич получил место судебного следователя. «В прежней службе... — отмечает Л. Толстой, — людей, прямо зависящих от его произвола, было мало... Только исправники и раскольники...» Он не делал им ничего плохого, но, по словам писателя, зависимым от него людям Иван Ильич «любил давать чувствовать, что вот он, могущий раздавить, дружески, просто обходится с ними».

«Теперь же, судебным следователем, Иван Ильич чувствовал, что все... у него в руках и что ему стоит только написать известные слова... и человека приведут к нему в качестве обвиняемого или свидетеля, и он будет... стоять перед ним и отвечать на его вопросы... Сознание этой власти и возможности смягчать ее составляли для него главный интерес и привлекательность... службы...»

«В самой же службе, именно в следствиях, Иван Ильич очень быстро усвоил прием отстранения от себя всех обстоятельств, не касающихся службы... и при котором исключалось совершенно его личное воззрение и, главное, соблюдалась бы вся требуемая формальность».

Через два года службы следователем Иван Ильич женился на Прасковье Федоровне Михель — самой привлекательной, умной, блестящей девушке «того кружка, в котором вращался», «девице хорошего дворянского рода». Женившись, он сделал «приятное себе» и то, что «наивысше поставленные люди считали правильным». Все было хорошо в «брач-

ной жизни» Ивана Ильича до беременности жены. Но с этого момента появилось «что-то новое, неожиданное, неприятное, тяжелое и неприличное»: беспричинная ревность жены, придирки, «грубые сцены» с ее стороны.

Со временем Иван Ильич выработал к семейной жизни определенное отношение. «Он требовал от семейной жизни только тех удобств домашнего обеда, хозяйки, постели, которые она могла дать ему, и, главное, того приличия внешних форм, которые определялись общественным мнением. В остальном же он искал веселой приятности и, если находил их, был очень благодарен; если же встречал отпор и ворчливость, то тотчас же уходил в свой отдельный, выгороженный им мир службы и в нем находил приятность».

Еще через три года Иван Ильич стал уже товарищем прокурора. На новой должности его особенно привлекали еще большие возможности тешить самолюбие демонстрацией своей власти — право «привлечь к суду и посадить всякого в острог». Затем его перевели «на место прокурора» в другую губернию. Здесь еще в большей мере его наполняло «сознание своей власти, возможность погубить всякого человека, которого он захочет погубить, важность, даже внешняя, при его входе в суд и встречах с подчиненными, мастерство свое ведения дел».

Иван Ильич не самый худший вариант чиновного сановного бюрократа. Толстой постоянно отмечает, что он своими возможностями не пользуется во вред людям. Ему достаточно сознания своей силы и значительности.

Через семнадцать лет после женитьбы «неприятное обстоятельство» нарушило «спокойствие жизни» Ивана Ильича. Он поссорился с начальством, его дважды обошли по службе, «оказалось... что жалованья не хватает на жизнь... что все его забыли». Иван Ильич почувствовал «тоску необыкновенную» и решил, «что так жить нельзя», надо «ехать в Петербург хлопотать», «выпросить место в пять тысяч жалованья». Поездка Ивана Ильича «увенчалась успехом» благодаря встрече со старым «товарищем и другом», ставшим влиятельным лицом. Иван Ильич «получил... такое назначение, в котором он стал на две ступени выше своих товарищей: пять тысяч жалованья и подъемные три тысячи пятьсот». «Вся досада на прежних врагов своих и на все министерство была забыта, и Иван Ильич был совсем счастлив».

Снова наладилась семейная жизнь Ивана Ильича, они «так дружно сошлись» с Прасковьей Федоровной, «как не сходились с первых лет женатой своей жизни».

Взявшись за устройство нового жилья в «комильфотном стиле», он «сам часто возился, переставлял даже мебель и сам перевешивал гардины». Иван Ильич был поглощен устройством дома и воображал, что вся обстановка у него имеет «изящный и не пошлый характер». «В сущности же, было то самое, что бывает у всех не совсем богатых людей, но таких, которые хотят быть похожими на богатых, и потому было так похоже, что нельзя было даже обратить внимания, но ему все это казалось чем-то особенным». Однажды, показывая обойщику, как он хочет драпировать, Иван Ильич оступился на лестнице и упал, боком стукнувшись «об ручку рамы». «Ушиб поболел, но скоро прошел».

Жизнь Ивана Ильича «пошла так, как, по его вере, должна была протекать жизнь: легко, приятно и прилично». Он превратился в законченного бездушного бюрократа. Иван Ильич считал, что на службе «надо было уметь исключать все то серое, жизненное, что всегда нарушает правильность течения служебных дел: надо не допускать с людьми никаких отношений, помимо служебных, и повод к отношениям должен быть только служебный, и самые отношения только служебные... Как только кончается отношение служебное, так кончается всякое другое». Иван Ильич все время лицемерит, притворяется, играет в жизнь, в которой все было ненастоящее, не подчиняющееся естественному чувству, но определяемое выработанным им самим правилом. И потому у него «радости служебные были радости самолюбия; радости общественные были радости тщеславия; но настоящие радости Ивана Ильича, — отмечает писатель, — были радости игры в винт». Семейное согласие Головиных держалось на одном: «Муж, жена и дочь ... одинаково

оттирали от себя и освобождались от всяких разных приятелей и родственников, замарашек... Скоро у Головиных осталось общество одно самое лучшее».

Однако ушиб Ивана Ильича стал давать о себе знать, иногда возникал «странный вкус во рту и что-то неловко в левой стороне живота», затем возникло «сознание тяжести постоянной в боку», а потом пришла постоянная «глухая, ноющая боль». «Что-то страшное... совершалось в нем».

С болезнью Ивана Ильича исчез восстановившийся было в его семье лад. «Муж с женой стали чаще и чаще ссориться». Он «во всем обвинял Прасковью Федоровну» и легко «приходил в бешенство». Она «поняла, что это болезненное состояние... и смирила себя», и смирение свое Прасковья Федоровна поставила себе в великую заслугу», но «ненавидела мужа». «Она стала желать, чтоб он умер, но не могла этого желать, потому что тогда не было бы жалованья». «Внешнее отношение Прасковьи Федоровны было такое к болезни мужа, что в болезни этой виноват Иван Ильич и вся болезнь эта есть новая неприятность, которую он делает жене». Это отношение Иван Ильич хорошо чувствовал и «ненавидел ее всеми силами души». И в суде среди коллег Иван Ильич чувствовал лицемерие в дружеских подшучиваниях над «его мнительностью».

Обращаясь к докторам, Иван Ильич хорошо понимал их пустоту и напускную значительность, так как сам вел себя так же. «Как он в суде делал вид над подсудимыми, — отмечает писатель, — так точно над ним знаменитый доктор делал тоже вид... Не было вопросов о жизни Ивана Ильича, а был спор между блуждающей почкой и слепой кишкой».

Самое страшное в положении Ивана Ильича было то, что не было «человека, который бы понял и пожалел его». «И он злился на несчастье или на людей, делавших ему неприятности и убивающих его, и чувствовал, как эта злоба убивает его; но не мог удержаться от нее».

Иван Ильич уже понимал, что умирает, и был «в постоянном отчаянии», ибо не мог смириться с бессмысленностью потери жизни на «этой гардине»: «Как ужасно и как глупо!» Для устройства гостиной «он пожертвовал жизнью».

Иван Ильич ни на минуту не забывает о своей болезни, и тяжелые, мрачные мысли владеют им. «Меня не будет, так что же будет? Ничего не будет? Так где же я буду, когда меня не будет? Неужели смерть? Нет, не хочу...» «Зачем? Все равно, — говорил он себе, открытыми глазами глядя в темноту. — Смерть. Да, смерть. И они никто не знают, и не хотят знать, и не жалеют... им все равно, а они тоже умрут. Дурачье. Мне раньше, а им после; и им то же будет. А они радуются. Скоты!»

На третьем месяце болезни Ивана Ильича незаметно «сделалось то, что и жена, и дочь, и сын его, и прислуга, и знакомые, и доктора, и, главное, он сам — знали, что весь интерес в нем для других состоит только в том, скоро ли наконец он опростает место, освободит живых от стеснения... и сам освободится от своих страданий».

Физические страдания Ивана Ильича усугублялись нравственными муками от лжи, окружающей его, «что он только болен, а не умирает, и что ему надо только быть спокойным и лечиться... что окружающие «не хотели признаться в том, что все знали и он знал... и заставляли его самого принимать участие в этой лжи». «Ложь... эта... должествующая низвести... страшный торжественный акт его смерти до уровня всех этих визитов, гардин, осетрины к обеду... была ужасно мучительна для Ивана Ильича». Он видел, что «никто не пожалеет его, потому что никто не хочет даже понимать его положения». А Ивану Ильичу хотелось, «чтоб его, как дитя больное, пожалел кто-нибудь», «чтоб его ласкали и плакали над ним...».

Только с «буфетным мужиком» Герасимом Ивану Ильичу было хорошо. Ухаживая за ним, Герасим все делал «легко, охотно, просто и с добротой», он один понимал положение барина и по-настоящему жалел его. «Один Герасим не лгал... он один понимал, в чем дело, и не считал нужным скрывать этого, и просто жалел исчахшего, слабого барина».

Ближе к концу Иван Ильич начал вспоминать свою прежнюю жизнь и анализировать ее, и в результате этого анализа прежние радости стали видеться им как «что-то ничтожное и часто гадкое»: «И эта мертвая служба, и эти заботы о деньгах, и так год, и два, и десять, и двадцать... И что дальше, то мертвее». И он все чаще думал о том, «что все происходит оттого, что он жил не так», «он прожил свою жизнь не так, как должно было». В поведении окружающих его людей — лакея, жены, дочери, доктора — он видел себя прежнего и понимал, «что все это было не то, все это был ужасный огромный обман, закрывающий и жизнь и смерть». Осознание непоправимой ошибочности жизни, понимание того, «что он пропал», «а сомнение не разрешено», приводило умирающего в отчаяние.

За три дня до смерти физические мучения стали так ужасны, что больной кричал страшным голосом. «Все три дня, в продолжение которых для него не было времени, он барахтался в том черном мешке, в который просовывала его невидимая непреодолимая сила. Он бился, как бьется в руках палача приговоренный к смерти, зная, что он не может спастись; и с каждой минутой он чувствовал, что, несмотря на все усилия борьбы, он ближе и ближе становится к тому, что ужасало его. Он чувствовал, что мученье его и в том, что он всовывается в эту черную дыру, и еще больше в том, что он не может пролезть в нее. Пролезть же ему мешает признание того, что жизнь его была хорошая. Это-то оправдание своей жизни цепляло и не пускало его вперед и больше всего мучило его».

За час до смерти Ивана Ильича его сын-гимназистик прокрался к нему, поцеловал его руку и заплакал. Это искреннее проявление чувства сына побудило умирающего окончательно понять, что жизнь его в самом деле была «не то», но что «это еще можно поправить». У него не стало больше ненависти, ему стало жалко сына и жену. Он попросил у жены прощения.

«И вдруг ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, что вдруг все выходит сразу... Жалко их, надо сделать, чтобы им не было больно». Ивану Ильичу стало хорошо и просто. Не стало прежнего привычного страха смерти: «Какая радость!» – вдруг вслух проговорил он». «Кончена смерть. Ее нет больше», – пронеслось в затухающем сознании Ивана Ильича.